

ПАМЯТНИКИ ЛИТЕРАТУРЫ

ОСИП
МАНДЕЛЬШТАМ

ОЧЕРКИ



IM WERDEN VERLAG
МОСКВА - AUGSBURG 2003

СОДЕРЖАНИЕ

Феодосия	3
Холодное лето	8
Сухаревка	9
Меньшевики Грузии	11
Севастополь	13
Крымские впечатления	15
Пивные	16
<i>Павел Нерлер. Послесловие к очерку «Пивные»</i>	<i>16</i>

Тексты печатаются по изданиям:

первые четыре очерка: Осип Манделъштам «Четвёртая проза», Москва, 1991 (OCR: Александр Белоусенко)

«Севастополь»: „Известия“ от 2 ноября 1923 года (Публикация Б. С. Мягкова)

«Крымские впечатления»: „Известия“ от 15 ноября 1923 года (Публикация Б. С. Мягкова)

«Пивные»: Публикация и послесловие П.Нерлера: „Русская мысль“ №4014, 27.01-02.02.1994, стр. 13

© «Im Werden Verlag». Составление и оформление. 2003

<http://www.imwerden.de>

info@imwerden.de

ФЕОДОСИЯ

Начальник порта

Белый накрахмаленный китель — наследие старого режима — чудесно молодил его и мирил с самим собой: свежесть гимназиста и бодрость начальника — сочетание, которое он ценил в себе и боялся потерять. Весь Крым представлялся ему ослепительным, туго накрахмаленным географическим китем. За Перекопом начиналась ночь. Там, за солончаками, уже не было ни крахмала, ни прачек, ни радостной субординации, и там невозможна была эта походка, упругая, как после купанья, — это постоянное возбуждение: смешанное чувство хорошо купленной валюты, ясной государственной службы и, в сорок лет, ощущение удачно выдержанного экзамена.

Обстоятельства складывались чересчур хорошо. Деловой портфель располагался с легким домашним изяществом дорожного несессера с ямочками для бритвы, мыльницы и разных щеток: помимо него, то есть без начальника порта, ни одной тонны ячменникам и пшеничникам, ни одной тонны отправителям зерна — ни самому Рошу, вчерашнему комиссионеру, сегодня — выскочке, легендарному Каниферштану, ленивому и томному на итальянский манер, отправляющему ячмень на Марсель, ни пшеничному Лившицу, сухопарому индюку, министру сквера Айвазовского, ни Центросоюзу, ни Рейзнерам, у которых дела так хороши, что вместо серебряной отпраздновали золотую свадьбу, и отец от счастья подружился с сыном.

Каждый из грязных пароходов, с запахом кухни и сои, с мулатской прислужкой и жарко натопленной, как международное купе, но более похожей на каморку богатого швейцара, капитанской каютой увозил и его тонны, незаметно смешанные с прочими.

Люди отлично знали, что вместе с зерном продают землю, по которой они ходят, но продолжали продавать эту землю, наблюдая за тем, как она осыпается в море, рассчитывая уехать, когда зашевелится под ногами последний оползень этой сыпучей земли.

Когда начальник порта шел по тенистой в корне, любезной старожилам Итальянской улице, его поминутно останавливали, брали под руку, отводили в сторону, что, впрочем, входило в привычки города, где все дела решались на улице, и никто, выйдя из дому, не знал, когда он дойдет и дойдет ли вообще к намеченной цели. Он же выработал в себе привычку с каждым мужчиной говорить приблизительно так, как говорил бы с женой начальника, склонив набок яйцевидную голову, придерживаясь левой стороны, так что собеседник был заранее благодарен и сконфужен.

Некоторых избранных он приветствовал, как друзей, вернувшихся из дальнего плавания, награждая их сочными поцелуями. Эти поцелуи он носил при себе, как коробочку свежих мятных лепешек.

Не принадлежа к уважаемым гражданам города, с наступлением ночи я стучался в разные двери в поисках ночлега. Норд-ост свирепствовал на игрушечных улицах. Гинзбурги, Ландсберги и пр. пили чай с белой еврейской булкой «халой». Ночные сторожа-татары похаживали под окнами меняльных лавок и комиссионных магазинов, где чубуки и гитары драпировались в шелковый полковничий халат. Разве что, гремя подковами английских ботинок, пройдет запоздалая юнкерская рота, потрясая воздух известным пэаном, с некоторыми нецензурными выражениями, которые опускались днем по настоянию местного раввина.

Тогда, в лихорадке, знакомой каждому бродяге, я метался в поисках ночлега. И Александр Александрович открывал мне, в качестве ночного убежища, управление порта.

Я думаю, никогда не бывало более странной ночной гостиницы. На электрический звонок открывал заспанный, тайно-враждебный парусиновый служитель. Сахарно-белые, сильные лампочки, вспыхнув, освещали огромные карты Крыма, таблицы морских глубин и течений, диаграммы и хронометрические часы. Бережно снимал я бронзовую чернильницу с крытого зеленым сукном стола морских заседаний. Здесь было тепло и чисто, как в хирургической палате. Все английские и итальянские пароходы, когда-либо будившие Александра Александровича, зарегистрированные в толстых журналах, библиями спали на полках.

Чтобы понять, чем была Феодосия при Деникине-Врангеле, нужно знать, чем она была раньше. У города был заскок — делать вид, что ничего не переменилось, а осталось совсем, совсем по-старому. В старину же город походил не на Геную, гнездо военно-торговых хищников, а, скорее, на нежную Флоренцию. В обсерватории, у начальника Сарандинаки, не только записывали погоду и чертили изотермы, но собирались еженедельно слушать драмы и стихи как самого Сарандинаки, так и других жителей города. Сам полицеймейстер однажды написал драму. Директор Азовского банка — Мабо был более известен как поэт. А когда Волошин появлялся на щербатых феодосийских мостовых в городском костюме: шерстяные чулки, плисовые штаны и бархатная куртка, — город охватывало как бы античное умиление, и купцы выбегали из лавок.

Спору нет — мы должны быть благодарны Врангелю за то, что он дал нам подышать чистым воздухом разбойничьей средиземной республики шестнадцатого века. Но аттической Феодосии не легко было приспособиться к суровому закону крымских пиратов.

Вот почему она сберегла доброго мецената Александра Александровича, морского котенка в пробковом тропическом шлеме, человека, который, сладко зажмурившись, глядел в лицо истории, отвечая на дерзкие ее выходы нежным мурлыканьем. Однако он был морским божеством города и по-своему Нептуном. Чем могущественнее человек, тем значительнее его пробуждение. Короли французские даже не вставали, а восходили, как солнце, и притом дважды: «малым» и «большим восходом». Александр Александрович просыпался вместе с морем. Но как общался он с морем? Общался он с морем по телефону. В полумраке его кабинета сверкали английские бритвы, пахло свежим полотняным бельем и крепким одеколоном, да еще сладковатым привозным табаком. Эта отличная мужская спальня, которой позавидовал бы любой американец, все же была средоточием морских узлов и капитанской рубкой.

Александр Александрович просыпался с первым пароходом. Два служителя, вестовые в белой парусине, вышколенные, как больничные санитары, кидались к первому телефонному звонку и нашептывали начальнику, который в эту минуту походил на разбуженного котенка, что пришел-де и стоит на рейде такой-то английский, турецкий или даже сербский пароход. Александр Александрович открывал крошечные глазки и, хотя он ничего не мог изменить в прибытии парохода, говорил: «А, хорошо, очень хорошо!» Тогда пароход становился гражданином рейда, начинался гражданский день моря, и начальник моря из спящего котенка превращался в покровителя купцов, вдохновителя таможни и биржевого фонтана, в коньячного, ниточного, валютного, одним словом, гражданского морского бога. Было в нем что-то от ласточки, домовито мусолящей гнездо — до поры до времени. И не заметишь, как она тренируется с детенышами на атлантический полет. Эвакуация была для него не катастрофой, не случайностью, а радостным атлантическим перелетом, по инстинкту отца и семьянина; как бы торжеством его жизненной упругости. Он никогда ничего о ней не говорил, но готовился к ней, может быть, бессознательно, с первой минуты.

Старухина птица

Если пройти всю Итальянскую, за последним комиссионным магазином, минуя заглошную галерею Гостиного двора, где раньше был ковровый торг, позади французского домика в плюще

и с жалюзи, где в мягкой гостиной с голоду умерла теософка Анна Михайловна, дорога забирает вверх к карантинной слободке.

С января пошла неслыханно жесткая зима. По льду замерзшего Перекопа возили тяжелую артиллерию. В кофейне, рядом с «Асторией», английские солдаты — «бобби»* — устроили грельню. Кружком сидели у жаровни, грели большие красные руки, пели шотландские песни и мешали в тесноте деликатным хозяевам жарить яичницу и варить кофе. Теплый и кроткий овечий город превратился в ад. Почетный городской сумасшедший, веселый, чернобородый караим, уже не бегал больше по улицам со свитой мальчишек.

Карантинная слободка, лабиринт низеньких мазаных домиков с крошечными окнами, зигзаги переулочков с глиняными заборами в человеческий рост, где натыкаешься то на обмерзшую веревку, то на жесткий кизилловый куст. Жалкий глиняный Геркуланум, только что вырытый из земли, охраняемый злобными псами. Городок, где днем идешь, как по мертвому римскому плану, а ночью, в непроломном мраке, готов постучать к любой мещанке, лишь бы укрыла от злых собак и пустила к самовару. Карантинная слободка жила заботой о воде. Как зеницу ока она берегла свою обледеневшую водокачку. Крикливое женское вече не умолкало на крутом пригорке, где ручьи туго нагнетаемой воды не успевали замерзнуть, а чтобы ведра, налитые всклянь, не расплескались на подъеме, бабы поплавками щепок припечатывали студеный груз.

Идиллия карантина длилась несколько дней. В одной из мазанок у старушки я снял комнату в цену куриного яйца. Как и все карантинные хозяйки, старушка жила в предсмертной праздничной чистоте. Домишко свой она не просто прибрала, а обрядила. В сенях стоял крошечный рукомойник, но до того скупой, что не было ни малейшей возможности выдоить его до конца. Пахло хлебом, керосиновым перегаром матовой детской лампы и чистым старческим дыханьем. Крупно тикали часы. Крупной солью сыпались на двор зимние звезды. И я был рад, что в комнате надышано, что кто-то возится за стенкой, приготавливая обед из картошки, луковицы и горсточки риса. Старушка жильца держала как птицу, считая, что ему нужно переменить воду, почистить клетку, насыпать зерна. В то время лучше было быть птицей, чем человеком, и соблазн стать старухиной птицей был велик.

Когда Деникин отступал от Курска, командование согнало железнодорожников, их посадили с семьями в теплушки, и не успели они опомниться, как покатались к Черному морю. Теперь железнодорожные куряне, снятые с теплого нашеста, расселились на карантине, обжились, кирпичом начистили кастрюли, но удивление их все еще продолжалось. Старуха без суеверного ужаса не могла говорить о том, как их «сняли с Курска», но разговору о том, что их повезут обратно, не было, так как бесповоротно считалось, что сюда их привезли умирать.

Если выйти во двор в одну из тех ледяных крымских ночей и прислушаться к звуку шагов на бесснежной глинистой земле, подмерзшей, как наша северная колея в октябре, если нащупать глазом в темноте могильники населенных, но погасивших огни городских холмов, если хлебнуть этого варева притушенной жизни, замешанной на густом собачьем лае и посоленной звездами, — физически ясным становилось ощущение спустившейся на мир чумы, — тридцатилетней войны, с мировой язвой, притушенными огнями, собачьим лаем и страшной тишиной в домах маленьких людей.

Бармы закона

Уплотнившееся дыхание капельками опускалось на желтые банные стены. Крошечные черные чашечки, охраняемые запотевшими стаканами железистой крымской воды, были расставлены приманками для красных хоботков караимских и греческих губ. Там, где садилось двое, сейчас же подсаживался третий, а за плечами у третьего подозрительно, и как будто ни

* Правильно: «томми».

при чем, становилось еще двое. Центрики расплывались и рассасывались, управляемые своеобразным законом мушиного тяготения: люди облепляли невидимый центр, с жужжанием повиснув над кусочком незримого сахара и с злобной песнью шарахались от несостоявшейся сделки.

Грязная, на серой древесной бумаге, всегда похожая на корректуру, газетка «Освага» будила впечатление русской осени в лавке мелочного торговца.

Между тем город над мушиными свадьбами и жаровнями жил большими и чистыми линиями. От Митридата, то есть древнеперсидского кремля на горе театрально-картонного камня, до линейной стрелы мола и к сурово-подлинной декорации шоссе, тюрьмы и базара, — он натягивал воздушные фланги журавлиного треугольника, предлагая мирное посредничество и земле, и небу, и морю. Подобно большинству южнобережных городов-амфитеатров, он бежал с горы овечьей разверсткой, голубыми и серыми отарами радостно-бестолковых домов.

Город был древнее, лучше и чище всего, что в нем происходило. К нему не приставала никакая грязь. В прекрасное тело его впились клещи тюрьмы и казармы, по улицам ходили циклопы в черных бурках, сотники, пахнущие собакой и волком, гвардейцы разбитой армии, с фуражками, до подошв заряженными лисьим электричеством здоровья и молодости. На иных людей возможность безнаказанного убийства действует, как свежая нарзанная ванна, и Крым для этой породы людей, с детскими наглыми и опасно-пустыми карими глазами, был лишь курортом, где они проходили курс лечения, соблюдая бодрящий, благотворный их природе режим.

Полковник Цыгальский нянчил сестру, слабоумную и плачущую, и больного орла, жалкого, слепого, с перебитыми лапами, — орла добровольческой армии. В одном углу его жилища как бы незримо копошился под шипенье примуса эмблематический орел, в другом, кутаясь в шинель или в пуховый платок, жалась сестра, похожая на сумасшедшую гадалку. Запасные лаковые сапоги просились не в Москву, молодцами-сороходами, а, скорее, на базар. Цыгальский создан был, чтобы кого-нибудь нянчить и особенно беречь чей-нибудь сон. И он и сестра похожи были на слепых, но в зрачках полковника, светившихся агатовой чернотой и женской добротой, застоялась темная решимость поводыря, а у сестры только коровий испуг. Сестру он кормил виноградом и рисом, иногда приносил из юнкерской академии какие-то скромные пайковые кулечки, напоминая клиента Кубу или дома ученых.

Трудно себе представить, зачем нужны такие люди в какой бы то ни было армии? Такой человек, кажется, способен в решительную минуту обнять полководца и сказать ему: «Голубчик, бросьте, пойдите лучше ко мне — поговорим!» Цыгальский ходил к юнкерам читать артиллерийскую науку, как студент на урок.

Однажды, стесняясь своего голоса, примуса, сестры, непроданных лаковых сапог и дурного табаку, он прочел стихи. Там было неловкое выражение: «Мне все равно, с царем или без трону», и еще пожеланья о том, какой нужна ему Россия: «Увенчанная бармами закона», и прочее, напомнившее мне почерневшую от дождя Фемиду на петербургском сенате. «Чьи это стихи?» — «Мои».

Тогда он открыл мне сомнамбулический ландшафт, в котором он жил. Самое главное в этом ландшафте был провал, образовавшийся на месте России. Черное море надвинулось до самой Невы; густые, как деготь, волны его лизали плиты Исаакия, с траурной пеной разбивались о ступени сената. По дикому этому пространству, где-то между Курском и Севастополем, словно спасательные буйки, плавали бармы закона, и не добровольцы, а какие-то рыбаки в челноках вылавливали эту странную принадлежность государственного туалета, о которой вряд ли знал и догадывался сам полковник до революции.

Полковник — нянька с бармами закона!

Мазеса да Винчи

Когда фаэтон с плюшевым медальоном пустых сидений или одноконная линейка с свадебно-розовым балдахином пробивались в раскаленную глушь верхнего города-града, копыт хватало на четыре квартала. Лошадь, подметая ногами искры, с такой силой обивала горячие камни, что казалось, в них должна была образоваться лестница.

Здесь было так сухо, что ящерица умерла бы от жажды. Человек в сандалиях и зеленых носках, ошеломленный явлением гремучего экипажа, долго глядел ему вслед. На лице его было написано изумление, словно везли в гору еще не бывший в употреблении рычаг Архимеда. Затем он подошел к торговке, которая сидела в своей квартире и торговала прямо из окна, превратив его в прилавок. Постучав по арбузу цыганским серебряным перстнем, он попросил отрезать ему половину. Но, дойдя до угла, вернулся, обменял арбуз на две самодельные папиросы и быстро удалился.

В верхнем городе дома, несколько казарменного и даже бастионного характера, дают приятное впечатление прочности, а также естественного, равного человеческой жизни, возраста. Оставляя в стороне археологию и не очень отдаленную старину, все они впервые сделали городской эту шершавую землю.

Дом родителей художника Мазеса да Винчи стыдливо повернулся к каменоломне хозяйственным и оживленным тылом. Засаленные библейские перины валялись на солнцепеке. Кролики таяли стерилизованным пухом, то перебегали, то расплывались, как пролитое молоко. И не слишком далеко, не слишком близко, там, где ей нужно, стояла гостеприимная будка с распахнутой дверью. На кривых шпигатовых ряях пузырилась большая стирка. Добродетельная армада шла под воинственными, материнскими парусами, но крыло, принадлежащее Мазесе, поражало яркостью и богатством оснастки: черные и малиновые косоворотки, шелковая ночная рубашка до пят, какие носят новобрачные и ангелы, одна зефирная, одна бетховенская, — разумеется, я говорю только о рубашках, — и одна фрачная с длинными, обезьяньими руками, получившая в домашней переделке цветные манжеты.

Белье на юге сохнет недолго: Мазеса прошел прямо во двор, приказал все это снять и немедленно выгладить.

Имя свое он избрал сам, а на вопросы любопытствующих лишь неохотно объяснил, что ему нравится фамилия да Винчи. В первой же половине своего прозвища — Мазеса — он сохранил кровную связь с родом: отец его, маленький, очень приличный человек, возил мануфактуру в Керчь на моторном паруснике, не страшась морской болезни, и звали его просто господином Мазес. Таким образом, Мазеса, прибавив женское окончание, превратил родовое прозвище в личное имя.

Кому неведом корабельный хаос мастерской славного Леонардо? Предметы кружились вихрем в трех измерениях гениальной рабочей комнаты; голуби, проникая в слуховое окно, пачкали пометом драгоценную парчу, и в вещей слепоте мастер натыкался на скромные предметы быта времен Возрождения. Мазеса унаследовал от невольного своего восприемника плодотворное буйство трех измерений, и спальня его уподоблялась плывущему ренессансному кораблю.

С потолка свешивалась большая люлька-корзина, в которой Мазеса любил отдыхать днем. Легкие хлопья перинного пуха нежились в густой, благородной черноте. Лестница, занесенная в комнату упрямой прихотью Мазесы, приставлена была к антресолям, где среди прочего инвентаря выделялась арматура тяжелых бронзовых ламп, во времена деда Мазесы висевшая в караимской молельне. Из кратера фарфоровой чернильницы, с грустными синагогальными львами, торчали, бородатые, расщепленные, много лет не знавшие чернил перья. На полке, под бархатной занавеской, библиотека: испанская Библия, словарь Макарова, «Соборяне» Лескова, энтомология Фабра и путеводитель Бедекера по Парижу. На ночном столике, рядом

с конвертом старого письма из Аргентины, микроскоп создавал ложное впечатление, что Мазеса глядится в него по утрам, просыпаясь.

В крошечном городе, захваченном кондотьерами Врангеля, Мазеса был совершенно незаметен и счастлив. Он гулял, ел фрукты и купался в бесплатной купальне, мечтал купить белые туфли на резиновой подошве, полученные в Центросоюзе. Отношения его с людьми и со всем миром строились на неопределенности и сладкой недоговоренности.

Он спускался с горы, выбирал в городе жертву, прилеплялся к ней на два, на три, а то и на шесть часов и, рано или поздно, зигзагами раскаленных улиц, приводил ее к себе домой. Таким образом, действуя, как тарантул, он исполнял какой-то темный, лично ему свойственный инстинктивный акт. Всем он говорил одно и то же: «Идемте ко мне, у нас каменный дом!» Но в каменном доме было то же, что и в других: перины, сердоликовые камешки, фотографии и вязаные салфетки.

Мазеса рисовал только автопортреты, да еще специально писал этюды с адамова яблока.

Когда вещи были выглажены, Мазеса стал собираться к вечернему выходу. Он не умывался, но горячо окунулся в серебряное девичье зеркало. Зрачки его потемнели. Круглые женские плечи вздрагивали.

Белые брюки-теннис, бетховенская рубашка и спортивный пояс не удовлетворили его. Он вынул из шкапа визитку и в полном вечернем туалете — безупречном от сандалий до тюбетейки — с черными шевиотовыми лапами на белых ляжках вышел на улицу, уже омытую козьим молоком феодосийской луны

ХОЛОДНОЕ ЛЕТО

Четверка коней Большого театра... Толстые дорические колонны... Площадь оперы — асфальтовое озеро, с соломенными вспышками трамваев, — уже в три часа утра разбуженное цоканьем скромных городских коней...

Узнаю тебя, площадь Большой Оперы — ты пуповина городов Европы — и в Москве — не лучше и не хуже своих сестер.

Когда из пыльного урочища Метрополя — мировой гостиницы, — где под стеклянным шатром я блуждал в коридорах улиц внутреннего города — изредка останавливаясь перед зеркальной засадой, или отдыхая на спокойной лужайке с плетеной бамбуковой мебелью, — я выхожу на площадь, еще слепой, глотая солнечный свет: мне ударяет в глаза величавая явь Революции и большая ария для сильного голоса покрывает гудки автомобильных сирен.

Маленькие продавщицы духов стоят на Петровке, против Мюр-Мерилиза, — прижавшись к стенке, целым выводком, лоток к лотку. Этот маленький отряд продавщиц — только стайка. Воробьиная, курносая армия московских девушек: милых трудящихся машинисток, цветочниц, голоножек, — живущих крохами и расцветающих летом...

В ливень они снимают башмачки и бегут через желтые ручьи, по красноватой глине размытых бульваров, прижимая к груди драгоценные туфельки-лодочки — без них пропасть: холодное лето. Слово мешок со льдом, который никак не может растаять, спрятан в густой зелени Нескучного и оттуда ползет холодок по всей лапчатой Москве...

Вспоминаю ямб Барбье: «Когда тяжелый зной прожиг большие камни». В дни, когда рождалась свобода — «эта грубая девка, бастильская касатка» — Париж бесновался от жары — но жить нам в Москве, сероглазой и курносой, с воробьиным холодком в июле...

А я люблю выбежать утром, на омытую светлую улицу, через сад, где за ночь намело сугробы летнего снега, перины пуховых одуванчиков, — прямо в киоск, за «Правдой».

Люблю, постукивая пустым жестяным бидоном, как мальчишка, путешествовать за керосином не в лавку, а в трущобу. О ней стоит рассказать: подворотня, потом налево, грубая, почти монастырская лестница, две открытых каменных террасы; гулкие шаги, потолок давит, плиты разворочены; двери забиты войлоком; протянуты снасти бечевок; лукавые замороженные

дети в длинных платьях бросаются под ноги; настоящий итальянский двор. А в одно из окошек из-за кучи барахла всегда глядит гречанка красоты неопишуемой, из тех лиц, для которых Гоголь не щадил трескучих и великолепных сравнений.

Тот не любит города, кто не ценит его рублища, его скромных и жалких адресов, кто не задыхался на черных лестницах, путаясь в жестянках, под мяуканье кошек, кто не заглаживался в каторжном дворе Вхутемаса на занозу в лазури, на живую, животную прелесть аэроплана...

Тот не любит города, кто не знает его мелких привычек: например, когда пролетка взбирается на горб Камергерского, обязательно, покуда лошадь идет шагом, за вами следуют нищие и продавцы цветов...

На большой трамвайной передышке, что на Арбате — нищие бросаются на неподвижный вагон и собирают свою дань — но если вагон идет пустой — они не двигаются с места, а как звери, греются на солнце под навесом трамвайных уборных, и я видел, как слепцы играли со своими поводьями.

А продавцы цветов, отойдя в сторону, поплевают на свои розы.

Вечером начинается игрище и гульбище на густом, зеленом Тверском бульваре — от Пушкина до тимирязевского пустыря. Но до чего много неожиданностей таят эти зеленые ворота Москвы!

Мимо вечных, несменяемых бутылок на лотерейных столиках, мимо трех слепеньких, в унисон поющих «Талисман», к темной куче народа, сгрудившейся под деревом...

На дереве сидит человек, одной рукой поднимает на длинном решете соломенную кошелку, а другой отчаянно трясет ствол. Что-то вьется вокруг макушки. Да это пчелы! Откуда-то слетел целый улей с маткой и сел на дерево. Упрямый улей коричневой губкой висит на ветке, а странный пасечник с Тверского бульвара все трясет и трясет свое дерево и подставляет пчелам кошелку.

Хорошо в грозу, в трамвае А, промчаться зеленым поясом Москвы, догоняя грозовую тучу. Город раздается у Спасителя ступенчатыми меловыми террасами, меловые горы врываются в город вместе с речными пространствами. Здесь сердце города раздувает мехи. И дальше Москва пишет мелом. Всё чаще и чаще выпадает белая кость домов. На свинцовых досках грозы сначала белые скворешники Кремля и, наконец, безумный каменный пасьянс Воспитательного Дома, это опьянение штукатуркой и окнами; правильное, как пчелиные соты, накопление размеров, лишенных величия.

Это в Москве смертная скука прикидывалась то просвещеньем, то оспопрививаньем, — и как начнет строиться, уже не может остановиться и всходит опарой этажей.

Но не ищу следов старины в потрясенном и горячем городе: разве свадьба проедет на четырех извозчиках — жених мрачным именинником, невеста — белым куколом, разве на середину пивной, где к трехгорному подают на блюдечке моченый горох с соленой корочкой, выйдет запевало, как дюжий диакон — и запоет вместе с хором чорт знает какую обедню.

Сейчас лето — и дорогие шубы в ломбарде — рыжий, как пожар, енот и свежая, словно только что выкупанная куница рядком лежат на столах, как большие рыбы, убитые острогой...

Люблю банки — эти зверинцы менял, где бухгалтеры сидят за решеткой, как опасные звери...

Меня радует крепкая обувь горожан и то, что у мужчин серые английские рубашки и грудь красноармейца просвечивает, как рентгеном, малиновыми ребрами.

СУХАРЕВКА

Сухаревка не сразу начинается. Подступы ее широки и плавны, и постепенно втягивает буйный торг в свою свирепую воронку. Шершавее мостовая, буграми и ухабами вскипает улица; видно, не терпится Сухаревке — уже раскидала свои манатки — прямо на крупной мостовой:

книжки веерами, игрушки, деревянные ложки — что полегче и в руках не горит. Пустяки, равнодушный товар...

На отлете базара сидят на бочках цирюльники; чисто и крепко бреют двужильных стратотерпцев. Табуретки, что каленые уголья — а не вскочишь, не убежишь.

Под самой Сухаревой башней, под башней-барыней, из нежного и розового кирпича, под башней-индюшкой, дородной, как сорокапятiletняя государыня, к чахлому деревцу привязана холмогорская корова. Когда строили башню, кончался огородный XVII век. Построил ее Петр с перепугу, увидев дурной сон, и на радостях, что все обошлось благополучно, вывел на огородной земле диковинную гражданскую постройку: не цейхгауз, не каланчу, а нечто сухопутное до мозга костей, где обучали морскому делу.

Сухаревка — земля огородная, ничего, что ее затянуло камнем, под ним чувствуется скупой и злой московский суглинок и торговля бьет из-под земли, как порождение самой почвы.

Дикое зрелище — базар в середине города: здесь могут разорвать человека за украденный пирог и будут швыряться им, как резиновой куклой; здесь — люди — тесто и хочешь — не хочешь, будут тебя месить чьи-то жилистые руки.

Как широкая баба, навалится на тебя Сухаревка — недаром славится Москва своих базаров бабьей шириной; плещется злой мелководный торг в зелено-желтых трактирных берегах; слева же подковой разбежался пустой шереметьевский двор, здание легкое и крылатое, как белая девичья ступня. Базар, как поле, засеянное в разбивку то рожью, то овсом, то гречью — размежеван, разлинован, изрезан тропинками — и закрыв глаза, по одним запахам, по испарениям можно сказать, какие грядки ты проходишь. То запах свежей убоины мускусом и здоровьем ударяет в голову — нестрашный запах животных трупов, потому что мы не хотим понимать его значения; то квадратный запах дубленой кожи, запах ярма и труда — и тот же — но смягченный и плутоватый запах сапожного товара; то метелочкой петрушки и сельдерея защекочет невинный запах зеленых рядов, или сырой и круглый запах рядов молочных.

Я видел тифлисский майдан и черные базары Баку. Разгоряченные, лукавые, но в подвижной и страстной выразительности всегда человеческие лица грузинских, армянских и тюркских купцов — но никогда я не видел ничего похожего на ничтожество и однообразие Сухаревских торгашей. Это какая-то помесь хорька и человека, подлинно «убогая славянщина». Словно эти хитрые глазки, эти маленькие уши, эти волчьи лбы, этот кустарный румянец на щеку выдавались им всем поровну в свертках оберточной бумаги.

Говорят, муж от долгого сожительства становится похожим на жену. Если присмотреться — и купец похож на свой товар: всех спокойнее и благообразнее лабазники: все текуче — один хлеб остается.

Лица мясников говорят о сметке первобытного хирурга — они сложнее, подвижнее, добродушнее; мускульная игра, неизбежно сопровождающая их работу; свежевание туши и рубка мяса с плеча, на глазомер, наложило на них отпечаток.

Женщины-мануфактурщицы, торгующие булавочной мелочью, заострили лица и поджали тонкие губы.

И здесь отдыхаешь на смуглых и открытых лицах каких-то кавказских чертенят, ковыряющих ваксу с блаженным смехом.

Медленно раскачивается Сухаревка, входит в раж, пьянеет от выкриков, от хлыстовского ритуала купли-продажи. Уже кидает человека из стороны в сторону — только выбрался он из одной ручной толкучки, преследуем сомнительными двуногими лавками, как понесло его одним из порожистых, говорливых ручейков и прибило к тупику — и, оглушенный граммофонами, он уже шагает через горящие примусы, через рассыпанный на земле скобяной товар, через книги.

Книги. Какие книги. Какие заглавия: «Глаза карие, хорошие», «Талмуд и еврей», неудачные сборники стихов, чей детский плач раздался пятнадцать лет назад.

Тут же уголок, напоминающий пожарище, — мебель как бы выброшена из горящего жилья на мостовую: дубовые с шахматным отливом столы, ореховые буфеты, похожие на

женщин в чепцах и наколках, ядовитая зелень турецких диванов, оттоманки, рассчитанные на верблюда, мешанские стулья с прямыми чахоточными спинками.

Удивленный человек метнулся обратно — чуть не наступил на белую пену кружевных оборок, взбитых как сливки, и сам не зная как, очутился среди гармонистов, словно подыгрывающих к чьей-то свадьбе, разворачивая лады вежливым извиняющимся движением — так, что в воздухе висит гармонный плач.

Есть что-то дикое в зрелище базара: эти десятки тысяч людей, прижимающих к груди свое добро, как спасенного из огня ребенка. Базар всегда пахнет пожаром, несчастьем, великим бедствием. Недаром базары загоняют и отгораживают, как чумное место. Если дать волю базару, он перекинется в город и город обрастет шерстью; а пока он напоминает о себе серой, неожиданной оберточной литературой, этими кулками и мешочками, которые оказываются то житием святого, то сборником диких анекдотов, то уставом какой-нибудь давно отжившей службы.

Но русские базары, как Сухаревка, особенно жестоки и печальны в своем свирепом многолюдстве. Русского человека тянет на базар не только купить и продать, а чтобы вывалиться в народ, дать работу локтям, поневоле отдыхающем в городе, подставить спину под веник брани, божбы и матерщины; он любит торговые петушинные бои и крепкое слово, пущенное вдогонку. В городе говорят лениво. Здесь живая речь — говорок, — средство защиты и нападения, — словно ручной хорек шныряет под лавками; базарная речь, как хищный зверек, сверкает маленькими белыми зубками.

Такие базары, как Сухаревка, — возможны только на материке — на самой сухой земле, как Пекин или Москва; только на сухой срединной земле, которую привыкли топтать ногами, возможен этот свирепый, расплывающийся торг, кроющий матом эту самую землю.

Несколько пронзительных свистков — и всё прячется, упаковывается, уволакивается, и площадь пустеет с тою истерической поспешностью, с какой пустели бревенчатые мосты, когда по ним проходила колючая метла страха.

МЕНЬШЕВИКИ ГРУЗИИ

1

Оранжевая. Город-колибри. Город пальм в кадках. Город малярии и нежных японских холмов. Город, похожий на европейский квартал в какой угодно колониальной стране, звенящей москитами летом и в декабре предлагающей свежие дольки мандарина. Батум, август 20-го года. Лавки и конторы закрыты. Праздничная тишина. На беленьких колониальных домиках выкинуты красные флажки. В порту десятка два зевак затерты администрацией и полицейскими. На рейде покачивается гигант Лойд Триестино из Константинополя. Дамы-патронессы с букетами красных роз и несколько представительных джентльменов садятся в моторный катер и отчаливают к трехпалубному дворцу.

Сегодня лавочникам и воскресным буржуа приспичило посмотреть на самого Каутского. И вот катерок бежит обратно: и по деревянному мостику засемили улыбающиеся вожди «настоящего европейского социализма». Цилиндры. Очаровательные модельные платья — и много, много влажных, дрожащих красных роз.

Каждого гостя бережно, как в ватную коробку, усаживают в автомобиль и провожают восклицаниями. Одного из делегатов неосведомленная береговая толпа принимает за Каутского, но выясняется ошибка и глубокое разочарование: Каутский очень жалеет, шлет привет — приехать не может. Тут же передается другая версия: чересчур откровенный флирт грузинских правителей с Антантой оскорбил немецкие чувства Каутского. Все-таки Германия зализывала свежие раны... Зато приехал Вандервельде. Они уже стояли на балконе профсоюзного «Дворца труда». Вандервельде говорил. Я никогда не забуду этой речи. Это был настоящий образец

официального, напыщенного и пустого, комического в своей основе, красноречия. Мне вспомнился Флобер, мадам Бовари и департаментский праздник земледелия, классическое красноречие префектуры, запечатленное Флобером в этих провинциальных речах с завыванием, театральными повышениями и понижениями голоса, влюбленный, влюбленный в свою декламацию буржуа, — а все как один человек чувствовали, что перед ними буржуа — говорил: я счастлив вступить на землю истинной социалистической республики. Меня трогают (широкий жест) эти флаги, эти закрытые магазины, небывалое зрелище по случаю приезда социалистической делегации.

— Вы цивилизовали этот уголок Азии (как характерно сказалось здесь поверхностное невежество французского буржуа и презрение к старой, вековой культуре). Вы превратили его в остров будущего. Взоры всего мира обращены на ваш единственный в мире социалистический опыт.

2

За неделю до приезда Вандервельде в Батум пришел другой пароход. Не из Константинополя, а из Феодосии — маленькая плоскодонная, небезопасная на Черном море азовская баржа с палубными пассажирами, бывшими в пути семь дней.

С этим пароходом приехали крымские беженцы.

Родина Ифигении изнемогала под солдатской пятой. И мне пришлось глядеть на любимые, сухие, полынные холмы Феодосии, на киммерийское холмогорье из тюремного окна и гулять по выжженному дворику, где сбились в кучу перепуганные евреи, а крамольные офицеры искали вшей на гимнастерках, слушая дикий рев солдат, приветствующих у моря своего военачальника.

В эти дни Грузия была единственной отдушиной для Крыма, единственным путем в Россию. Визы в Грузию выдавались контрразведкой сравнительно легко. Связь меньшевицкой и врангелевской контрразведки была прочно налажена. Людьюми бросались туда и обратно. Отпускали в Грузию для того чтобы поглядеть, куда и как он побежит — а потом сгребали — и обратно в ящик.

Семь дней волновался тугой синий холст волн. На карачках ползали за кипятком. Дагестанцы в бурках угощали зверобоем. Хорошо из тюрьмы перейти прямо на корабль, в раздвижную палатку пространства с влажным ковровым полом.

На сходнях встречает студент, облеченный полномочиями. Вспомнились распорядители кавказских балов в Дворянском Собрании. — Ваш паспорт, — и ваш — и ваш! получите через три дня. Пустая формальность. — Почему не у всех? — Формальность. Дагестанцы в бурках глядят искоса.

В городе предупреждают: не ходите в советскую миссию — выследят и схватят. Не ходим. Поедем в Тифлис, все-таки столица. Город живет блаженной памятью об англичанах. Семилетние дети знают курс лиры. Все профессии и занятия давно стали побочными. Единственным достоянием человека считается торговля, точнее, извлечение ценностей из горячего, калифорнийского, малярийного воздуха. Меншевицкий Батум был плохой грузинский город.

Высокие аджарцы в бабьих платках, коренные жители, составляли низшую касту торговли мелочью на базарах. Густой, разноплеменный сброд смешался в дружную торговую нацию. Все, грузины, армяне, греки, персы, англичане, итальянцы — говорили по-русски. Дикий воляпук, черноморское русское эсперанто носился в воздухе.

3

Через три дня после приезда я невольно познакомился с военным губернатором Батума. У нас произошел следующий разговор.

— Откуда вы приехали? — Из Крыма. — К нам нельзя приезжать. — Почему? — У нас хлеба мало. — Неожиданно поясняет:

— У нас так хорошо, что если бы мы позволили, к нам бы все приехали. — Эта изумительно наивная, классическая фраза глубоко запечатлелась в моей памяти. Маленькое «независимое» государство, выросшее на чужой крови, хотело быть бескровным. Оно надеялось чистеньким и благополучным войти в историю, сжатое грозными силами, стать чем-то вроде новой Швейцарии, нейтральным и от рождения «невинным» клочком земли.

— Вам придется ехать обратно.

— Но я не хочу здесь оставаться, я еду в Москву.

— Все равно. У нас такой порядок. Каждый едет туда, откуда он приехал.

Аудиенция кончена. Во время разговора по комнате шныряли темные люди и, жадно и восторженно указывая на меня, в чем-то убеждали губернатора. В потоке непонятных слов все время выделялось одно: большевик.

Люди лежат на полу. Тесно, как в курятнике. Военнопленный австриец, матрос из Керчи, человек, который неосторожно зашел в русскую миссию, буржуа из Константинополя, юродивый молодой турок, скребущий пол зубной щеткой, белый офицер, бежавший из Ганджи. Офицера берет на поруки французская миссия. Турка выталкивают пинками на свободу. Остальных в Крым. Нас много. Ничем не кормят, как в восточной тюрьме. Кое у кого есть деньги. Стража благодушно бегаёт за хлебом и виноградом. Раскрывают дверь и впускают рослого румяного духанщика с подносом персидского чая. Читаю нацарапанные надписи; одна запомнилась: «Мы бандитов не боимся пытки, ловко фабрикуем Жордания кредитки». Одного выпускают. Он по глупости опять заходит в советскую миссию, на другой день возвращается обратно. Похоже на фарс, на какую-то оперетку. С шутками и прибаутками людей отправляют туда, где их убьют, потому что для крымской контрразведки грузинская высылка высшая улика, верное тавро. Я вышел в город за хлебом, с спутником-конвойным. Его звали Чигуа. Я запомнил его имя, потому что этот человек меня спас. Он сказал:

— У нас два часа времени, можно хлопотать, пойдем куда хочешь. — И таинственно прибавил:

— Я люблю большевиков. Может, ты большевик?

Я, оборванец каторжного вида, с разорванной штаниной, и часовой с винтовкой ходили по игрушечным улицам, мимо кофеен с оркестрами, мимо итальянских контор. Пахло крепким турецким кофе, тянуло вином из погребов. Мы заходили, наводя панику, в редакции, профсоюзы, стучались в мирные дома по фантастическим адресам. Нас неизменно гнали. Но Чигуа знал, куда меня ведет, какой-то человек в типографии всплеснул руками и позвонил по телефону. Он звонил к гражданскому генерал-губернатору. Приказ: немедленно явиться с конвойным. Старый социал-демократ смущен. Он извиняется. Военная власть действует независимо от гражданской. Мы ничего не можем поделать. Я свободен. Могу курить английский табак и ехать в Москву.

Перегон Батум-Тифлис. Мальчики и девочки продают в корзинках черный виноград-изабеллу — плотный и тяжелый, как гроздь самой ночи. В вагоне пьют коньяк. Разгоряченная атмосфера пикника и погоня за счастьем. Вандервельде с товарищами уже в Тифлисе. Красные флажки на дворцах и автомобилях. Тифлис, как паяц, дергается на ниточке из Константинополя. Он превратился в отделение константинопольской биржи. Большие русские газеты полны добродушьем и мягкой терпимости, пахнет «Русским Словом», двенадцатым годом, как будто ничего не случилось, как будто не было не только революции, но даже мировой войны.

СЕВАСТОПОЛЬ

Схлынула волна приезжих. Закрылись самые дорогие рестораны. Опустел Приморский бульвар. Севастополь предоставлен самому себе, чистенький, раскидавший от кургана до кургана старые военные постройки, пакгаузы, дома с колоннами, казармы и памятники.

Севастополь — приемник всей курортной волны. Скорые поезда выбрасывают на маленькую площадь из одноэтажного белого вокзала массу пассажиров; их подхватывают хищники-автомобили, скромные линейки, обтянутые полотном. Крошечный трамвай мчится в гору, и сразу проникаешься атмосферой маленького города: у вас, гражданка, нет мелочи, — говорит кондуктор, — ну, ничего: в следующий раз заплатите.

Кажется, в Севастополе не было построено ни одного нового здания с самой осады: те же самые пузатые дома, толстые стены, колонны, маленькие окна, балкончики и завитушки. Он сохранил внешний вид полумещанского, полувоенного приморского городка.

В магазинах все продают втридорога, гораздо дороже московского. Это все для приезжих; местный житель идет на базар, подошедший вплотную к зеленой, пропитанной нефтью морской воде.

Здесь бесчисленные парикмахерские с живописными восточными вывесками тщетно ждут клиентов, стучат кости домино в турецкой кофейне, пышет жаром, как домашняя печь, булочная, работающая на мазутном огне.

Единственная газета в городе — газета военмора «Аврал». Энергичный листок, умеющий находить крепкие слова, всегда простые и сильные для домашнего военморского быта, типичная «своя» газета, подошедшая вплотную к своему читателю.

Татарское население в городе — меньшинство. Возле базара приютился скромный татарский клуб. Здесь разучивают на стареньком фортепиано национальные мелодии, ставят злободневную оперетку; оживленно хлопочут молодые деятели татарского театра в маленьких барашковых шапках, с упрямыми скуластыми лицами и косыми глазами.

Уже вечерело, когда я подходил к освещенному зданию морского собрания. Происходило общее собрание союза грузчиков. На скамейках плотными рядами сидели рабочие в пропыленных мукой широких блузах, все один к одному, как из камня обтесанные массивные фигуры, молчаливые и сдержанные. Президиум из трех с величайшим напряжением старался овладеть аудиторией, которая тяжело ворочала свою думу, плохо верила, туго поддавалась.

— Вы не смотрите, товарищи, что в Керчи и в Феодосии приняты высшие ставки, — говорил председатель. — Надо думать, чтобы нам всем не надорваться. Нельзя заставить государство платить через силу: нам же хуже будет.

И с трудом проникали веские слова в сознание слушателей. Из грузного, но внимательного собрания по временам слышались недоверчивые возгласы, иронические вопросы.

Особенно досталось правлению за кассу взаимопомощи: грузчики никак не могли согласиться с тем, что нельзя распылать ссуды, и попрекали кассу покойником, которого не удалось вовремя похоронить из-за невыдачи ссуды.

Когда принимали отчет правления, в голосовании участвовали далеко не все — подавляющее меньшинство, остальные воздерживались и думали свою тяжелую думу. Видно было, какого колоссального труда стоит деятелям местного профсоюза поднять глыбу этих силачей, завоевывать их доверие; и все-таки это им удается, и словно стальные канаты протягиваются между организатором и массой.

Гордость Севастополя — «Институт физического лечения». Этот великолепный дворец может составить славу любого мирового курорта. Белоснежные сахарно-мраморные ванны, огромные комнаты для отдыха, читальни с бамбуковыми лежанками, настоящие термы, где электричество, радий и вода бьются с человеческой немощью. Никаких очередей, быстро и вежливо обслуживают массу пациентов.

«Институт физического лечения» — настоящее сокровище Севастополя. Он мог бы обслуживать гораздо больше больных, приходящих, конечно, если бы только было, где жить. Для того, чтобы институт мог развернуть свою огромную пропускную способность, необходимо дать возможность приезжим устраиваться около института. Лечение в Севастопольском институте для многих гораздо полезнее, чем пребывание в санаториях Южного берега, где отсутствует великолепное оборудование института.

Лечебное будущее Севастополя в связи с институтом — все впереди.

КРЫМСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Когда-то у эмира было пять собственных экипажей, он был поставщиком роскошных дач, десятками десятин считались его виноградники.

Сейчас он смотрит смиренно, жалуется, кряхтит, но смотрит лисой. Он уже забрал в свои руки поставку винограда и фруктов на всю окрестность, снарядил пару линеек, купил в Севастополе баркас для рыбной ловли и — странное дело — сын его в исполкоме, и он за сыном спокоен.

Эти эмиры — превосходные организаторы. Они любили действовать под флагом артели и кооперации.

На южном побережье работает несколько артелей виноградных товариществ. Старые прессы починены и пущены в ход, течет крепкое сусло, работают опытные мастера, выходцы из южной Европы, уже настоящие крымчаки.

Но превратить свой виноград в вино, послав его в артель виноделов, — нелегкое дело для среднего крестьянина.

Ему трудно подняться. Прежде всего, он физически слаб и, не пользуясь наемным трудом, не мог как следует перекопать своего виноградника; поэтому сорта винограда для него невысоки, культура страдает. Со всех сторон слышны разговоры о необходимости образования настоящих артелей трудовых виноградарей, происходят совещания, где достать кредит.

Масса татарского крестьянства совершенно переродилась за последние годы.

Дети очень плохо оправившись от последствий недоедания. Золотуха, коклюш, рахитические заболевания, всяческие язвы на почве истощения. Они, как зверьки, бегают по улицам, радуются солнцу, выздоравливают, но за ними нужен крепкий уход, а родители дать его не могут.

Нередко можно наблюдать сильнейшую семейную вражду между хозяйством, которое оправилось, и хозяйством, которое пришиблено вконец.

Брат Абдул скупил у Ибрама в голодные годы все его виноградники, и вышитые одеяла, и чадры, и подушки, все то, чем гордится татарский дом, что бережно прячется, как приданое, в чистый стеклянный шкаф.

Для нового быта характерно такое явление. Мулла, отправляющий свои религиозные службы, в то же время занимается извозом, как обыкновенный извозчик.

Иронически рассказывают, что напрасно он скликает с минарета свою паству. Все равно никто не идет.

То, что в Крыму необходимо помочь, что составляет его большое место и в то же время важнейшее средство исцеления, — это кооперация. Кооперативы, по общему признанию, из рук вон плохи. Население настолько мало уважает кооперацию, видя дурные примеры, что относится к ней, как и обычному частному торговому предприятию — с недоверием и опаской. Кооператив старается обслужить не местное население, а исключительно состоятельных приезжих. Здесь спекулируют на червонцах, не держат нужных предметов первой необходимости, и о кооперации крымчак-татарин часто говорит с раздражением и пренебрежением.

Во всяком случае, расслоение крестьянской массы идет полным ходом. Союзниками выздоравливающих низов являются кооперация и школа. Татарская школа, несмотря на исключительно скромный бюджет Наркомпроса, во всех отношениях впереди местной русской, которая подчас стоит подолгу пустая, с выбитыми стеклами. Следует отметить, что крымская школа получила на днях от центра довольно крупную кредитовку и сумеет в ближайшем будущем обслужить население, которое относится к ней с ревнивой любовью.

ПИВНЫЕ

Сухопарый сгорбленный старик, с козлиным лицом и оловянными бляхами глаз, неверной походкой, нагибаясь и покачиваясь, вылез из маленькой стеклянной дверцы отдельного кабинета и невидящим глазом окинул пивную. При его входе все стихло. Головы повернулись. Завсегдатаи объясняли новичкам: 30 лет поет, всю программу знает. Вслед за ним вышел хор и аккомпанемент. Два гармониста в скрипучих сапогах и русских рубахах, — просто парни с ярмарки, — уселись на скамьи, усердно качаясь, растягивали и собирали свою жалобную пищалку. По бокам, по двое в профиль к публике окаменели певцы. Старик управлял хором. Подвижное хитрое лицо подмигивало, глаза щурились, указательный палец выразительно вытягивался, голова нервно качалась.

Это была его привилегия — козлиная выразительность. Остальные не шелохнулись.

Свой репертуар, свои привычки, свой давний обычай каменной выразительности. Маленький ресторанчик, не для публики из городского центра, а для окраин, для подмастерий и мелких дельцов. Во всех городах, во всех странах вас зовут по-особому. И крепко держатся ваши обычаи.

Посетители хорохорятся, грудь колесом, за свои деньги. — Эй, дайте бумаги. — Вам для чего, для дела, или между собой посчитаться? — «Между собой посчитаться» — это главный нерв пивной, ее настоящая деловая душа. Здесь не любят начинать дел. Здесь любят их кончать. Это не биржа, а «дом отдыха» и последний акт трубных и Сухаревских сделок. В пивную приходят «обдумать дело» и между собой посчитаться.

Ряд мелких судебных процессов за последнее время указывает на пивную, как на место, где созревала мысль о преступлении, происходил сговор, обсуждались подробности.

Сюда мещанин, запутавшийся, подавленный лицемерием и несчастьями, ревностью, банкротством, приходит набираться храбрости «на поступок».

Восклицания певцов, самоуверенные пьяные голоса, чад, звон, угар, — все это взвинчивает слабую тщедушную волю, и смотришь, под низким упрямым лбом уже созрела мысль: или вернуться домой, шатаясь, с вымышленным рассказом о грабителях, или разжалобить кредиторов потоплением в Чистых Прудах, или выкрасть из суда с помощью «верного человека» неприятное дело. Между седыми столиками, как зверек, шныряют плутня и взятка.

В грузинском духане с того столика, где останятся музыканты, должен обязательно встать гость и проплясать лезгинку. Такой обычай.

Но русский хор не вмешивается в домашнюю жизнь историка. Хочешь слушай, хочешь нет. Он каменный — никаких интимностей, никаких предложений, спел и ушел в стеклянную дверь: допивать остатки пива.

Где сейчас лубки, куда перешли они со стен московских трактиров? Где машина «орган»? Это вывелось; все больше ресторанов, все меньше трактиров, все чаще стакан вместо «пары чая». Только пивные еще придерживаются старых обычаев, но уже и в них часто каменные лица хора сменяются бойким актерским заигрыванием и вместо «Не даром поэты...» полугусарский, полуопереточный репертуар.

Послесловие к очерку «Пивные»

Этот неизвестный текст Мандельштама «нашелся» в мае 1993 года, причем не где-нибудь, а в Германии и к тому же совершенно случайно. В замечательной коллекции русских газет библиотеки Института восточноевропейской истории Тюбингенского университета большинство составляют эмигрантские издания («Посев» и другие). Но есть и российские, и советские газеты: среди последних — единственный, причем некомплектный (даже без первой страницы) 77-й номер газеты «Трудовая копейка» за 19 ноября 1923 года. На

четвертой полосе в глаза бросилась знакомая аббревиатура «О.М.». Подписанный ею очерк «Пивные» проходил под рубрикой «Московский фельетон».

Именно в это время — летом и осенью 1923 года — Мандельштам написал серию очерков, которые можно условно объединить в серию «московских»: «Генеральская» (опубликовано в «Рабочей газете» 14 июля), «Холодное лето» и «Сухаревка» (в «Огоньке», 15 и 29 июля).

Примыкают к ним и такие «огоньковские» очерки, как «Меньшевики в Грузии» (12 августа), «Первая международная крестьянская конференция» (28 октября) и «Ньюэн-Ай-Как. В гостях у коминтернщика» (23 декабря). Месяцы с августа по октябрь, проведенные в Гаспре, где создавался «Шум времени», аукнулись в очерках «Севастополь» и «Крымские впечатления» («Известия», 2 и 15 ноября).

Звеном в этой цепи несомненно является и очерк «Пивные». Характерным для Мандельштама является упоминание в нем грузинского духана, грузинской традиции. Но главным в атрибуции очерка является сам по себе текст, его стилистика — точно такая же, что и в перечисленных очерках: яркая, упругая, сочная разговорная московская речь в сочетании с сугубо индивидуальной — мандельштамовской — образностью (та же «козлиная выразительность», например).

Как было однажды сказано — «Ни у кого этих звуков изгибы!..».